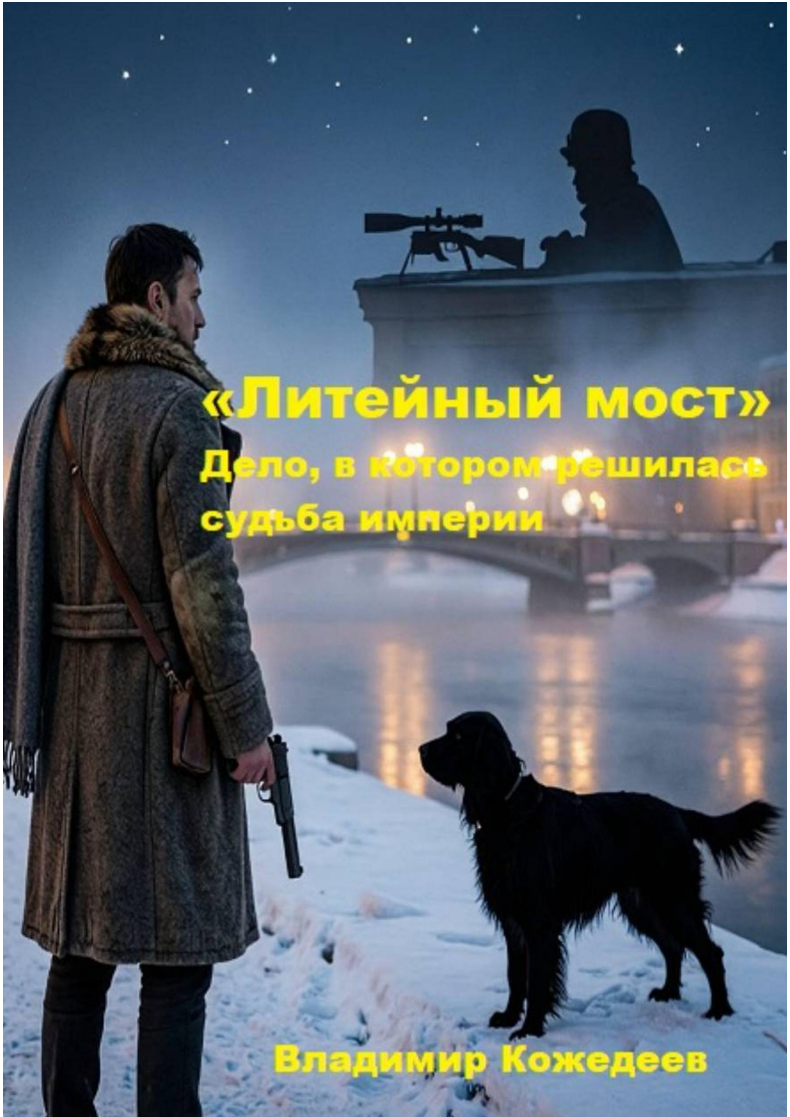

«Литейный мост»
Дело, в котором решилась судьба империи
Владимир Кожедеев

Владимир Кожедеев

«Литейный мост» Дело, в котором решилась судьба империи

Серия «Исторические детективы», книга 29

https://litres.ru/73955889
SelfPub; 2026

Аннотация

Петербург, 1911 год. Империя на пороге великих потрясений. Газеты трубят о террористах, дворцы полны заговорщиков, а на улицах бесследно исчезают люди.

Бывший присяжный поверенный, а ныне частный детектив Арсений Ветров получает странное письмо от таинственного «господина Ч». Встреча у Литейного моста оборачивается засадой: снайпер на крыше, труп городового и свёрток с царским вензелем. Спасает Ветрова случайный прохожий — студент-медик Глеб Есенич, человек с тростью и альпинистским прошлым.

Так начинается расследование, которое выведет сыщика на след заговора, грозящего смести не только его самого, но и всю

Российскую империю. Похищены секретные чертежи новейшего аэроплана. В тени действует барон-камергер, мечтающий о военном перевороте. А из прошлого всплывает старый враг с компроматом на отца Ветрова.

«Литейный мост» Дело, в котором решилась судьба империи — это не просто детектив. Это история о верности и предательстве, о падениях и восхождениях, о друзьях, которые идут за тобой...

Содержание

Глава 1. 5
Глава 2. 14
Глава 3. 31
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Владимир Кожедеев «Литейный мост» Дело, в котором решилась судьба империи

Глава 1.

Петербург в январе 1911 года задыхался от снега. Не того пушистого и благородного, что воспет поэтами, а тяжёлого, мокрого, словно город выплёвывал свою тоску белыми хлопьями. Тусклые фонари на Литейном проспекте жалобно мигали, и редкие прохожие кутались в воротники, будто каждый нёс в шинели собственный маленький склеп.

Арсений Платонович Ветров стоял у окна своей квартиры на Знаменской улице и смотрел на замерзшие стёкла. В отражении — человек тридцати двух лет с глубокими складками у губ и глазами, которые видели слишком много, чтобы бояться темноты. Когда-то эти глаза заставляли трепетать присяжных в окружном суде. Теперь они же изучали счета за дрова и уголь, потому что частный сыск в империи — удел либо гениев, либо отчаявшихся.

Он не был гением. Но отчаяние знал хорошо.

На столе, среди гильз, схем и газетной вырезки о похищении чертежей военного аэроплана, лежало письмо. Обычный конверт с маркой в три копейки, отправленный с Почтамтской улицы. Бумага дешёвая, но почерк — каллиграфический, с нажимом, выдающим человека, привыкшего отдавать приказы.

«Милостивый государь Арсений Платонович,

имею к вам дело чрезвычайной важности, касающееся чести империи и жизни близких вам людей. Жду вас сегодня ровно в полночь у Литейного моста, со стороны Выборгской набережной. Приходите одни. Опасайтесь городового в форме Семёновского полка — он будет предупреждён, что вы шпион. Не доверяйте никому, кроме темноты.

Господин «Ч»».

Ветров перечитал письмо в пятый раз. «Честь империи» в таких посланиях всегда означала либо провокацию, либо подставу, либо искреннюю глупость заказчика. Опыт подсказывал — чаще всего всё вместе.

Он взял браунинг 1906 года, проверил обойму, сунул в кобуру под левую мышку. Надел сюртук, поверх — пальто с бобровым воротником. И на мгновение задержал взгляд на шарфе — сером, шерстяном, с выбившимися нитями. Мать связала его за год до смерти, в саратовской больнице для душевнобольных, куда её отправил отец после того, как она разбила икону.

Ветров намотал шарф два раза вокруг шеи. Вдохнул запах

нафталина и давно ушедшей ласки.

— Ну что ж, — сказал он пустой комнате. — Пошли.

До Литейного моста он шёл пешком. Это было неразумно — рискованно, долго, холодно. Но извозчик означал свидетеля, а свидетель в его деле — лишняя пуля.

Снег скрипел под ногами. За Литейным проспектом потянулись пустынные набережные. Нева спала подо льдом, но кое-где чернели промоины — пар из труб бань и прачечных плавил реку даже в лютый мороз.

За два квартала до моста Ветров заметил его. Городовой в шинели Семёновского полка — форма необычная для уличного патруля, но в Петербурге после революции 1905 года всякое бывало. Рослый, с усами до щёк, он медленно шёл вдоль перил и делал вид, что проверяет фонари.

«Предупреждён, что я шпион», — вспомнил Ветров. — «Значит, либо дурак, либо провокатор».

Он свернул в арку дома и обогнул квартал по дворам-колодцам. Там, где петербургская архитектура показывает своё нутро — гнилые трубы, горы угля, кошки и запах щей из чьей-то кухмистерской. Выход к мосту оказался с другой стороны — со спуска к самой воде.

Ровно полночь. Луна вылезла из-за туч, и Ветров увидел прорубь. Прямоугольную, обложенную соломой — не для крещенских купаний, а для чего-то иного. Рядом на снегу лежал свёрток из крафтовой бумаги. На нём — государственный герб, двуглавый орёл, и каллиграфическая вязь: «Его

Императорскому Величеству. Секретно».

Ветров наклонился. В этот момент раздался хрип.

Городовой лежал в трёх шагах, у самой проруби. Глаза открыты, рот приоткрыт, из-под шинели натекла лужа, которая уже начала замерзать, смешиваясь со снегом. Ветров присел — две пули. Одна в грудь, навылет. Вторая в горло. Стреляли сзади и сверху.

Он поднял голову.

Дом через улицу — доходный дом купца Елисеева, пять этажей, лепнина, атланты на фасаде. На крыше — тень. Слишком прямая, чтобы быть трубой или антенной. И блеск — короткий, металлический.

Ветров рванулся в сторону за тумбу. Пуля чиркнула по граниту в двух вершках от его виска. Вторая — в то место, где он только что стоял. Снайпер работал из винтовки с оптическим прицелом — редкость для уличных убийц, но обычное дело для тех, у кого есть доступ к военному арсеналу.

— Сволочь! — выдохнул Ветров и выхватил браунинг.

Бесполезно. До крыши — метров сорок. Пистолет калибра 7,65 — игрушка против винтовки. Единственное спасение — скользить вдоль парапета, не поднимая головы.

Третья пуля ударила в мостовую, выбив искры. Четвёртая — в фонарный столб. Снайпер торопился. Или уходил.

И тут сзади послышался топот. Быстрые шаги, молодые, уверенные. Кто-то бежал прямо под пули.

— Стоять! — заорал Ветров. — Ложись, идиот!

Незнакомец не лёг. Он подскочил к стене дома, с разбега ухватился за водосточную трубу и замер, глядя вверх. Шинель студента, фуражка с кокардой, в руке — тяжёлая трость с набалдашником в виде волчьей головы.

— Там! — крикнул студент, показывая на крышу. — Я видел движение!

Снайпер выстрелил в пятый раз. Пуля пробила фуражку студента, сбив её с головы, но сам он даже не вздрогнул. Вместо этого он сделал невероятное — рванул вверх по трубе, цепляясь за кованые скобы, как акробат. За три секунды — второй этаж. Ещё две — четвёртый.

С крыши грянул выстрел — но мимо. Студент перемахнул через парапет, и Ветров услышал звук удара — глухой, с хрустом, словно кто-то разбил арбуз. Крик, мат, звук падения тела. А затем тишина.

Ветров бросился к дому. Обогнул двор, влетел в подъезд, взбежал на чердак. Там пахло пылью, голубиным помётом и порохом.

На крыше, у самой кромки, сидел студент. Вернее, сидел на спине человека в чёрном пальто. Трость с волчьей головой была аккуратно приставлена к горлу поверженного. Сам студент тяжело дышал, но улыбался.

— Этот? — спросил он, кивая на человека под собой.

Ветров подошёл ближе. Стрелок — лет тридцати, в форме прапорщика инженерных войск, с запёкшейся кровью на виске. Дышит, но без сознания. Рядом — винтовка Мосина

с немецким цейсовским прицелом. Дорогая игрушка.

— Вы его убили? — спросил Ветров.

— Нет. Ударил набалдашником по голове. И спихнул с трубы, когда он перезаряжался. Он упал на спину, я — на него. Очень демократично.

Студент встал, отряхнулся и вдруг вытянулся по стойке смирно.

— Глеб Иванович Есенич, студент четвёртого курса Императорской Военно-медицинской академии. К вашим услугам.

Ветров протянул руку.

— Арсений Платонович Ветров. Частный детектив. Спасибо, что не дали убить.

— О, я вас узнал, — глаза Глеба заблестели. — Вы же тот самый, кто раскрыл дело об убийстве на Фонтанке! Газеты писали. Вы осудили подпоручика, который застрелил студента?

— Не осудил. Представил улики. Суд осудил.

— Скромность — оружие умных. — Глеб наклонился над стрелком и быстро ощупал его карманы. — Смотрите.

Из внутреннего кармана он извлёк портсигар. Серебряный, гравированный, с вензелем. На крышке — две буквы: «А.К.» и дата «1905». Внутри — три папиросы «Беломор» и клочок бумаги с адресом: «Соляной переулок, 12, кв. 7. После дела — сжечь».

— А.К., — медленно произнёс Ветров. — Аркадий Кон-

стантинович? Александр Кириллович? А может, полковник Веселовский?

— Вы знаете этого человека?

— Ещё нет. Но очень скоро узнаю.

Внизу завыли полицейские свистки. Кто-то из дворников видел стрельбу и вызвал городовых. Ветров и Глеб переглянулись.

— Вам нужно уходить, — сказал Глеб. — Вы без оружия, с трупом городового у моста, с оглушённым прапорщиком на крыше. Вас арестуют.

— А вы?

— Я студент-медик. Скажу, что спасал раненого. У меня есть алиби — дежурство в анатомическом театре.

Ветров хотел возразить, но Глеб уже стаскивал с прапорщика пальто.

— Надевайте. И бегом вниз, чёрным ходом. Встретимся в чайной «У Золотого льва» на Малой Конюшенной. Завтра в полдень. Спросите Фёклу Кузьминичну.

— Вы уверены?

— В хирургии — нет. В людях — иногда.

Ветров натянул пальто убийцы — длинное, тёплое, с чужой болью в швах. И прежде, чем спуститься, обернулся.

— Глеб Иванович, вы спасли мне жизнь. Я этого не забуду.

— Не стоит, Арсений Платонович. Долги — плохая валюта для дружбы.

Он шёл по Соляному переулку, чувствуя, как мокрый снег просачивается в ботинки, как сердце успокаивается, уступая место холоду и злости. Тот, кто заказал эту встречу — господин «Ч» — либо хотел, чтобы Ветрова убили, либо проверял его на прочность. И то и другое означало одно: втянули в большую игру.

На углу Лиговского проспекта он заметил афишу. Яркая, жёлтая, с жирными буквами:

«СЕНСАЦИЯ! Военное министерство подтверждает: чертежи новейшего аэроплана «Россия-А» похищены! Назначена награда в 10 тысяч рублей за информацию!»

Ветров остановился. Десять тысяч — огромные деньги. Это больше, чем он заработал за два года частного сыска. И больше, чем стоила его жизнь сегодня ночью.

Он достал из кармана окровавленный портсигар. А.К. Полковник Веселовский — если это он — работал в артиллерийском управлении. Имел доступ к секретным документам. И если он же заказал убийство Ветрова, значит, детектив вышел на след, сам того не зная.

— Ну что ж, — сказал он, глядя на заснеженный Невский, где даже в полночь горели огни ресторанов и мелькали силуэты последних гуляк. — Поиграем.

Но прежде, чем идти к себе на Знаменскую, он завернул в ночную аптеку на Литейном. Купил йод, бинты и нашатырь. Не для себя — для студента, который рискнул жизнью ради незнакомца.

Утром следующего дня газеты вышли с двумя новостями.

Первая: «У Литейного моста найден труп городового Семёновского полка, убитого выстрелом в упор. Полиция подозревает революционеров».

Вторая, мелким шрифтом в разделе происшествий: «В доходном доме Елисеева задержан неизвестный в форме прапорщика с признаками тяжёлой черепно-мозговой травмы. При нём обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Личность устанавливается».

Ветров читал эти строки в своей квартире, попивая остывший кофе, и думал только об одном: в какой момент его жизнь превратилась из череды мелких заказов в охоту на заговорщиков, которые пахнут порохом и царскими вензелями?

Ответа не было. Но шарф матери на шее сегодня грел особенно тепло. Словно она всё ещё верила, что из сына выйдет толк.

А вера матери — вещь, которую не отнимут ни пули, ни снег, ни петербургская тоска.

Глава 2.

Саратовское детство пахло керосином, лепешками и волжской рыбой. Этот запах Арсений Ветров помнил даже сейчас, в промерзшем Петербурге 1911 года, когда за окном выла метель, а на столе остывал недопитый кофе. Достаточно было закрыть глаза — и вот он снова бежит босиком по раскаленной от солнца улице, а в руке — рогатка, а в кармане — стеклянные шарики, выигранные в «пристенок» у Кольки Стеклова.

Саратов конца девяностых. Город купеческий, хлебный, с золотыми церквями и черными трубами заводов. Волга здесь широка, как море, а нравы — круче волжских обрывов. На одной улице мог жить миллионер-мукомол рядом с нищим сапожником, и никого это не удивляло. Россия вообще не любила удивляться — она привыкала.

Отец Арсения — Платон Сергеевич Ветров — служил в Саратовской казенной палате столоначальником. Должность звучала внушительно, но на деле означала гору бумаг, нищенское жалованье и необходимость ежедневно кланяться тем, кто родился удачнее. Платон Сергеевич был человеком тихим, почти незаметным — с бледным лицом вечного переписчика и пальцами, желтыми от табака. Дома он молчал, в гостях молчал, даже когда жена — красавица Вера Павловна — заливалась смехом за чаем, он сидел с каменным лицом,

будто боялся, что кто-то услышит его мысли.

— Ни рыба ни мясо, — вздыхала соседка снизу, купчиха Толоконникова. — Куда такая краля за такого пошла?

Действительно, куда? Вера Павловна в молодости была первой ученицей Мариинской гимназии, играла на рояле, писала стихи — тайком, в тетрадь под подушкой. Арсений помнил мать молодой — косы до пояса, глаза зеленые, с прищуром, будто она всегда видела что-то, чего не видели другие. Она вышла за Платона Сергеевича не по любви — от нужды. Ее отец, мелкий почтовый служащий, умер от чахотки, и нужно было спасать мать и двух младших сестер. Платон Сергеевич предложил руку и дом. Вера Павловна согласилась.

Восемь лет они жили как соседи по коммунальной квартире. Он — за своим столом с ведомостями. Она — у печи с кастрюлями и молитвой: «Господи, дай сил». А потом родился Арсений, и что-то в матери переломилось. Она стала целовать сына так, будто пыталась отдать ему всю нежность, которую некуда было деть за эти годы. Она учила его читать по «Капитанской дочке», объясняла звезды на ночном небе и однажды, когда Арсению было шесть, отвела его на Волгу и сказала:

— Запомни, сынок. Волга никуда не бежит. Она просто несет то, что должно плыть. И если ты — доска, ты сгниешь. Если камень — утонешь. А если человек — доплывешь до любого берега.

Арсений тогда не понял. А через год — понял слишком хорошо.

Вера Павловна заболела в 1894 году. Не сразу — сначала просто кашель, потом слабость, потом ночные стоны, от которых Платон Сергеевич уходил спать в кухню. Саратовские доктора разводили руками: «Нервы, сударыня, вам бы на воды». Но денег на воды не было.

Она стала странной. Могла встать в три ночи и начать гладить белье. Могла заговорить с иконой, будто та живая. А однажды разбила в гневе образ Спасителя — просто так, без причины, а потом целый час плакала на руках у маленького Арсения, бормоча: «Я не безумна, я просто не могу больше бояться».

Платон Сергеевич выдержал ровно до того дня, когда Вера Павловна выбежала на улицу в одной ночной рубашке с криком: «Закройте небо, оно упадет!». Его вызвали к городскому голове и сказали прямо: «Либо вы отправляете супругу в лечебницу, либо мы подаем рапорт о вашей неблагонадёжности».

Лечебница находилась за Саратовом, в старом купеческом особняке с железными решетками на окнах. Туда свозили «буйных» со всей губернии. Платон Сергеевич отвез Веру Павловну лично — на извозчике, в серенькое промозглое утро. Арсения с собой не взял.

— Ты пока поживешь у тети Клавы, — сказал он семилетнему сыну. — Мама скоро поправится.

Она не поправилась. Через два месяца ее нашли мертвой — повесилась на простыне, привязанной к батарее парового отопления. В записке было всего три слова: «Простите меня, Христа ради».

Арсений узнал об этом от дворника дяди Мити, который не умел шептать и ревел во весь голос: «Сирота ты теперь, Арсюша, сирота горькая!». Платон Сергеевич не пришел к сыну — он сидел в своей комнате три дня, запершись, и пил. Пил так, что через неделю его выгнали с работы за прогулы. Пил так, что через месяц домой приехал троюродный брат из Вольска и увез в свою семью «недельки на две». А потом письмо: «Забирайте мальчишку, не можем смотреть на ваше безобразие».

Так Арсений остался с отцом. С пьющим, потерянным, чужим человеком, который не умел варить суп, забывал купить хлеб и по вечерам плакал, глядя на портрет Веры Павловны.

— Ты на меня не смотри, — рыдал Платон Сергеевич. — Я ничтожество. Я тебя погубил.

Арсений не знал, что ответить. Он научился молчать. И наблюдать.

Соседний дом — через дорогу, с резными наличниками и покосившимся крыльцом — занимал отставной жандармский ротмистр Модест Ильич Кочергин. Лет шестидесяти, коренастый, с седыми усами, похожий на старого барсука. В Саратов он перебрался после того, как его выслали из Петер-

бурга за «излишнюю гуманность при дознании» — он отказался пытать студента-поляка. Начальство не простило.

Модест Ильич жил один с кошкой Машкой и библиотекой в триста томов — книги были разложены не по авторам, а по преступлениям: «Убийства», «Кражи», «Подлоги», «Сыскные дела». Он не выходил из дома без трости с затейливым набалдашником — табакеркой внутри — и всегда носил черную повязку на левом глазу (стеклянный глаз, потерянный при штурме басмачей в Самарканде).

С Арсением он познакомился через две недели после смерти матери. Мальчик сидел на лавке у своего подъезда, сжимая кулаки и глядя в землю. Мимо шел Модест Ильич, остановился, присел на корточки.

— Горевать будешь потом, — сказал он глуховатым басом. — А сейчас давай-ка за мной. Есть у меня одна труба — не свистит. Посмотрим, где у нее засор.

Арсений не хотел никуда идти. Но ноги пошли сами.

Так началась дружба, которая определила его жизнь. Модест Ильич учил его всему, что знал сам: логике, терпению, стрельбе, картографии, умению читать следы, различать запахи (табачная фабрика, аптека, рыбная лавка, паленый порох, женские духи), определять по походке профессию (солдат — тяжелая чеканка, матрос — вразвалочку, актер — с прыжком), по следам сапог — род занятий, по шву на сюртуке — достаток.

Но главным уроком был тот, что он дал впервые — в дожд-

ливый сентябрьский вечер, когда Арсений заревел от бессилия, не сумев сосредоточиться на следах шины на грязной дороге.

— Сынок, — сказал Модест Ильич, кладя широкую ладонь на плечо. — Запомни железно. Не тот силён, кто не падает. Тот силён, кто падает и поднимается. Но поднимается не как попало, а с расчётом. Прежде чем встать, посмотри — куда ты упал, обо что споткнулся, кто подставил подножку, и как сделать, чтобы в эту же яму больше не угодить. Понял?

— Понял, — шмыгнул носом Арсений.

— Повтори.

— Не тот силён, кто не падает, а кто поднимается с расчётом.

— Молодец. А теперь — иди домой, отцу ужин согрей. И не смей жалеть его. Жалость — хуже ненависти. Жалость расслабляет. А ненависть — двигает.

Отец тогда уже спал пьяный прямо в сюртуке на полу кухни. Арсений накрыл его одеялом, поставил на плиту чугунок с картошкой и долго смотрел на его лицо — посеревшее, морщинистое, не похожее на того человека, который когда-то дарил матери цветы. В голове застряла фраза Модеста Ильича: «Не смей жалеть». И Арсений не жалел. Он просто делал то, что нужно. Варил, убирал, стирал, учил уроки — и каждый вечер, перед сном, садился на подоконник, смотрел на звезды и думал: «Я поднимусь. Когда-нибудь. С расчётом».

Первое падение случилось через год. Арсению было восемь, и он уже славился среди дворовых мальчишек не столько силой, сколько выдумкой. Он придумывал игры, делил территории, мирил враждующих. И главное — он не боялся. Или делал вид.

Но была у него одна слабость — высота. Арсений не мог стоять на краю крыши, смотреть вниз с обрыва, даже подниматься на второй этаж по лестнице без перил — внутри все замирало, ладони потели, колени становились ватными. Это была не трусость — так объяснял Модест Ильич — а физиологическая особенность, вестибулярный аппарат, недоразвитие чувства равновесия. Но в восемь лет никто не слушает анатомию. Все смотрят в глаза и шепчут: «Трус».

Особенно старался Борька Огульцов. Сын местного станового пристава — розовощекого, жирного, с вечно потным лицом и маленькими хитрыми глазками. Борька был на год старше Арсения, но весил вдвое больше — плотный, с кулаками-булыжниками и глумливым смехом. Он возглавлял шайку таких же сынков зажиточных обывателей, которые поджидали Арсения в переулке после школы и требовали «дань». Не деньгами — признанием.

— Слабо, Ветров? — Борька ухмылялся, стоя у покосившегося сарая на пустыре за огородами. Крыша сарая — скатная, с дырами в шифере — нависала над землей метрах в пяти. С нее был виден весь Саратов: Волга, баржи, купола, трубы. — Слабо встать на самый край и спрыгнуть? Или ты

трус, как твоя мамаша?

Это было сказано специально. Для удара. Борька знал, что мать Арсения повесилась — ему рассказал отец, который вел дознание по факту суицида (формально, просто для протокола). И Борька ударил.

Арсений не помнил, как полез. Ноги сами понесли. Доски скрипели, ногти впивались в щепу, ветер свистел в ушах. Мальчишки внизу орали: «Давай, давай!». Колька Стеклов, сын кузнеца, стоял с перекошенным лицом и кричал: «Слезай, Арсюха, не надо!». А Лёлька Шерер — девчонка в синем платье с бантами — молча зажмурилась и отвернулась.

На крыше Арсений встал. Поскользнулся на мокрой черепице. И полетел вниз.

Удар был страшный — нога подвернулась под неестественным углом, в глазах вспыхнула боль, в ушах зазвенело. Арсений закричал — не от боли даже, а от стыда. Он не допрыгнул, не доказал, упал, как куль с мукой, на глазах у всех.

Борька Огульцов рассмеялся, плюнул на землю и ушел, бросив через плечо: «Ветеринару покажите, может, починят». А Колька и Лёлька остались.

Колька, здоровый десятилетний увалень, поднял Арсения на руки — легко, будто котенка — и понес домой. Лёлька бежала рядом и плакала:

— Дурак, дурак, зачем полез? Он же провокатор! Он тебя не стоит!

— Он маму назвал… — прошептал Арсений.

— А ты бы лучше его в морду дал! — заорала Лёлька. — А не с крыши прыгать!

Колька промолчал. Он донес друга до крыльца, аккуратно положил на лавку и сказал: «Я сейчас отца позову, он кости править умеет. Ты не бойся».

Это была первая маленькая победа Арсения Ветрова. Не на крыше. Внизу. Он понял: у него есть друзья. Настоящие. Те, кто не смеются над упавшим, а поднимают.

Три месяца гипса, кровати и скуки. Модест Ильич приходил каждый день и приносил книги — не про сыск, а про логику: Шерлок Холмс (в переводе на русский, с серой бумагой и картинками), Габорио, «Записки следователя». Он заставлял Арсения решать головоломки: «Если на месте преступления найдены три окурка, один с губной помадой, другой — махорочный, третий — дорогой сигары, и два следа: мужской 43-го размера и женский 36-го, причем женский сделан поверх мужского, — кто был первым?».

— Мужчина, — отвечал Арсений.

— Почему?

— Потому что след женщины вдавлен глубже — она пришла позже и наступила на уже готовую дорожку. А сигара — ее? Ни в коем случае. Дамская сигара — это модно, но дорогая. А окурок от сигары лежит отдельно. Значит, тот, с дорогой сигарой, приходил до нее и стоял на месте дольше. А махорочный — рабочий, он мог быть свидетелем.

— А губы? Губная помада — не на окурке женщины?

— Нет, на окурке женщины губная помада осталась бы на мундштуке, если бы она его держала. А тут помада на папиросной бумаге — значит, женщина вытерла губы перед уходом. Она нервничала.

Модест Ильич одобрительно крякал и гладил усы.

— Бог сыска из тебя выйдет, Ветров. Если, конечно, ты перестанешь лезть на крыши.

Нога срослась кривовато — Арсений слегка прихрамывал всю жизнь, особенно на холоде. Но в четырнадцать лет, когда он впервые вышел на улицу после болезни, никто не смеялся. Колька выработал в кузнице железные прутья и сделал для друга специальную подложку в ботинок. Лёлька принесла пирожков с капустой и сказала: «Ты молодец. И больше никогда никому ничего не доказывай. Ты и так лучший».

Они стояли на том же пустыре, где стоял сарай (его снесли прошлой осенью — Борькин отец продал участок под застройку). И Арсений впервые почувствовал: падение было нужно. Оно сделало его осторожнее. Оно научило выбирать битвы. И оно дало ему двух верных людей — Кольку с золотыми руками и Лёльку с железным сердцем.

Первая настоящая удача пришла в четырнадцать лет — и снова через падение. На этот раз не физическое.

Лавочник на углу Большой Костромской, старый раскольник Ефим Семенович Лапшин, лишился выручки. Тридцать два рубля семьдесят три копейки — огромные деньги по тем временам — исчезли из кассы за ночь. Лавка

была заперта изнутри, решетки целы, сейф не взломан, замок на кассе не поврежден. Полиция развела руками: «Кража с помощью подбора ключа, ищите своего».

Ефим Семенович от отчаяния объявил награду в десять рублей. И Модест Ильич, который пил чай с раскольником по воскресеньям, шепнул: «Отдай мальчишке. Может, унюхает».

Арсений пришел в лавку на следующий день. Осмотрел все — пол, стены, кассу, окно, дверь. Следов — ноль. Кража идеальная. Но идеальных преступлений не бывает. Бывают невнимательные следователи.

— Ефим Семенович, — спросил Арсений. — А кто вчера входил в лавку, кроме вас?

— Покупатели. Много. День-то субботний.

— А кто из них задерживался дольше пяти минут?

— Табачник с Линии. Старовер, кстати, свой. Ключи отдавал наточить — замок в подсобке скрипел. Он минут десять возился, пока я ему ключ подбирал.

— А где он стоял?

— У прилавка. Прямо у кассы.

Арсений подошел к кассе. Склонился, принюхался. Слабый запах — табак, махорка, дешевый. И еще кое-что. Чуть сладковатый, с горчинкой. Модест Ильич учил: «Запах — это память преступления. Если преступник что-то курил на месте — он оставил часть себя».

— Он курил? — спросил Арсений.

— Курил, как зашел. Я ему сказал — у меня не курят, он потушил вон в ту жестянку.

Жестянка из-под консервов стояла у ножки стула. В ней — пепел и три окурка. Два — махорочные, самокрутки. Один — фабричный, папироса «Беломор» с фирменным золотым ободком.

Арсений взял окурок пинцетом (научил Модест Ильич — никогда не брать улики голыми руками). Поднес к свету. На папиросной бумаге — жирное пятно. Не от губ — от пальца. След машинного масла.

— Ефим Семенович, а табачник — он какой рукой ключи подавал?

— Правой. А что?

— А зажигалку?

— Тоже правой.

— Значит, левой он держал папиросу? — Арсений показал на окурок. — Но след масла на правой стороне фильтра. Если бы он курил правой, масло было бы с левой. Значит, он левой держал папиросу, но масло — правой? Нестыковка.

Он обошел прилавок и посмотрел на пол. Пыль, крошки, сор. И среди сора — странный след, почти незаметный. Не ноги — предмета. Прямоугольник, размером с коробку сигарет, слегка вдавленный в доски. Отпечаток на пыли.

— Он что-то ставил на пол, — сказал Арсений. — Пока вы возились с ключом. Что-то тяжелое. И забыл поднять.

Они с Ефимом Семеновичем обошли лавку. Под стелла-

жом с крупой — железная коробка из-под печенья. Открыли. Внутри — связка отмычек, три рубля мелочью и фотография женщины с надписью: «Милому Ванечке от любящей Глаши».

— Ваня? — переспросил Ефим Семенович. — Табачник-то — Иван. И фамилия — Гладышев. А Глаша — это, выходит, полюбовница?

— Или сообщница, — сказал Арсений.

Они заявили в полицию. Табачника арестовали на следующий день — он оказался членом шайки, воровавшей из лавок по всей губернии, а коробку с отмычками случайно забыл, когда торопился. Тридцать два рубля нашли у его любовницы — Глаши, бывшей портнихи, которая умела вскрывать замки иголкой.

Ефим Семенович Лапшин сдержал слово — дал десять рублей. А сверху — принес щенка. Сеттера, двух месяцев от роду, рыжего с белым, с огромными лапами и ушами-лопухами.

— Джеком звать, — сказал раскольник. — Породистый, но глупый. Как и все умные щенки. Принимай, Ветров. Пес — он не предаст. В отличие от людей.

Арсений назвал щенка Джеком. И ошибся: пес оказался умнее многих людей, которых он встретит потом в Петербурге. Но это будет позже. А тогда, в четырнадцать лет, Арсений впервые почувствовал, что его дар — видеть то, чего не замечают другие — не проклятие, не странная болезнь,

а оружие.

С друзьями того времени — Колькой и Лёлькой — они жили как три мушкетера, только без шпаг, денег и королевы. Колька Стеклов был коренаст, медлителен в разговоре, но быстр в деле. Сын кузнеца с Закавказской улицы, он с десяти лет ковал гвозди, а в двенадцать мог согнуть подкову голыми руками. Модест Ильич говорил: «У этого парня не мускулы — арматура. Но голова — пенек». Колька не обижался. Он знал, что глупым не бывает тот, кто умеет молчать и слушать.

Однажды Колька спас Арсения от Огульцовской шайки — когда Борька с тремя приятелями загнал Ветрова в тупик у Волжского обрыва. Колька подошел, взял Борьку за шиворот одной рукой и сказал своим низким, чуть удивленным голосом:

— Ты, Огульцов, отойди. А то я тебя как наковальню уроню. Стук будет — на всю губернию.

Борька отступил. И затаил злобу. На Кольку, на Лёльку, на Арсения — на всех, кто был сильнее его духом, богаче сердцем.

Лёлька Шерер — Елена Карловна, дочь обрусевшей немки и русского приказчика — была девчонкой с языком, как бритва. Острый подбородок, острые глаза, острые фразы. Она первой в гимназии начала носить юбку выше щиколотки («не для моды, а чтобы бегать быстрее мальчишек»). Она умела плакать так, что никто не видел слез, и смеяться так, что плакать хотелось всех вокруг.

— Арсений, ты дурак, — говорила она спокойно, глядя прямо в глаза. — Но дурак хороший. Не как другие.

Лёлька была верна, как скала. Когда отца Арсения — уже окончательно спившегося — хотели выселить за неуплату, Лёлька стащила из маминой шкатулки три золотых червонца и отдала Ветрову со словами: «Отдашь, когда сможешь. А не сможешь — не отдавай. Дружба дороже».

Он отдал через два года, когда выиграл в карты у проезжего купца (нечестно — Модест Ильич научил его и этому, «на всякий пожарный»). Лёлька деньги не взяла. Сказала: «Купи собаке мяса. Джек худой».

В 1901 году, когда Арсений уезжал в Петербург поступать в университет, Колька и Лёлька провожали его до пристани. Колька подарил нож — самодельный, из булатной стали, с рукоятью из оленьего рога («не дай бог, конечно, но если что — бей и беги»). Лёлька поцеловала в щеку — быстро, будто обожглась — и сказала:

— Пиши. И не пропадай. Ты нам нужен.

— Зачем? — улыбнулся Арсений.

— Затем, что без тебя скучно. С кем я еще буду ругаться?

Теплоход отчалил. Волга шумела. Джек, уже взрослый пёс, сидел у ног хозяина и смотрел на удаляющийся Саратов с мудрой грустью, свойственной только собакам и философам.

Арсений махал рукой до тех пор, пока две фигуры — один здоровенный кряжистый, вторая легкая, как тростник — не

растворились в дымке над пристанью.

Недругом того детства был Борька Огульцов. Но не только он. Самым страшным недругом оказался отец.

Платон Сергеевич Ветров впал в запой после смерти жены — и не выходил из него почти десять лет. Пил дешевое портвейно, потом сивуху, потом одеколон. Потерял место, потом квартиру (съехали в подвал у Верхнего базара), потом человеческое лицо.

Арсений помнил один вечер — ему было двенадцать. Отец пришел пьяный в стельку, разбил лампу, упал посреди комнаты и зарыдал. Арсений попытался его поднять, но Платон Сергеевич оттолкнул его со словами: «Не трогай! Я сам! Я — человек! Я — столоначальник!».

— Ты никто, — тихо сказал Арсений. — И я тоже никто. Но я хотя бы пытаюсь стать кем-то.

Отец посмотрел на него мутными глазами, улыбнулся кривой улыбкой — и вдруг протянул руку.

— Прости, сын.

В первый раз за все годы — извинился.

Арсений не ответил. Он лег спать на голый матрас, отвернулся к стене и заплакал — не от жалости, а от ярости. Потому что прощать не умел. И боялся, что никогда не научится.

Платон Сергеевич умер в 1904 году — в больнице для хронических алкоголиков, куда его определил уже сам Арсений, студент-первокурсник, приехавший на каникулы. Отец не узнал сына. Он смотрел в потолок и шептал: «Вера… Ве-

рунька… прости…»

Арсений стоял у койки, держал его холодную руку и молчал. А потом вышел во двор, сел на скамейку и выкурил папиросу «Беломор» — те самые, с золотым ободком, которые курил табачник-вор из далекого детства.

Джек положил голову ему на колени. А где-то над Волгой гремела гроза. И казалось, что весь мир смывает эту грязь — боль, стыд, отчаяние — чтобы начать сначала.

Но Россия не умела начинать сначала. Она умела только терпеть. И Арсений это знал лучше других.

Теперь, сидя в Петербурге 1911 года, перебирая в памяти эти годы, Арсений Платонович Ветров думал: детство его кончилось не тогда, когда умерла мать. И не тогда, когда упал с крыши. И не тогда, когда отец назвал себя ничтожеством.

Детство кончилось в тот миг, когда он понял: спасать других можно только после того, как спас себя.

А он себя еще не спас. Он только построил фасад — бывший присяжный поверенный, частный детектив, человек с браунингом и логикой. Но внутри, где-то в саратовском подвале, всё еще жил мальчишка, который боится высоты и ненавидит подлецов.

— Ничего, — сказал он вслух, глядя на портсигар с инициалами «А.К.». — Мы еще поднимемся. С расчётом.

Джек, дремавший у печки, поднял голову и вильнул хвостом. Пес помнил всё. И ничего не прощал.

Хорошая собака. Хороший друг. Хорошее начало.

Глава 3.

Петербург 1909 года встретил Арсения Ветрова сыростью, вонью канализации и равнодушием. Он приехал из Саратова с тремястами рублями в кармане, с дипломом юридического факультета и с убеждением, что столица обязана его заметить. Столица не заметила.

Два года он мыкался по адвокатским конторам, переписывал жалобы купцов на не поставку товаров, составлял завещания для старух, которые всё равно умирали бедными. В двадцать девять он получил место помощника присяжного поверенного при знаменитом адвокате Льве Александровиче Куперникe — толстом, лысом, с хриплым голосом и репутацией человека, который мог вытащить из петли даже удавленника. Куперник был стар и капризен, платил гроши, зато научил главному: «В суде не бывает правды. Бывают факты. Умей найти факт — и ты победишь». Но настоящей победы не случилось. В 1910 году Куперник умер от разрыва сердца прямо в зале суда, защищая подростка-беспризорника, обвинённого в краже булки. Подростка осудили на три года. Арсений вышел из зала с холодным потом на спине и понял: он больше не может быть частью системы, где правда умирает раньше приговора.

Сыскное бюро «Ветров и Ко» открылось на Знаменской улице, в квартире, которую он снимал у вдовы коллежско-

го асессора. Вывеска была маленькой, скромной: «Частное сыскное агентство. Бывший присяжный поверенный. Розыск людей, вещей, фактов». Под объявлением в «Петербургской газете» Арсений дал три строки — и получил за месяц ровно два заказа. Первый — от купчихи, потерявшей мопса. Мопс нашёлся через три часа в борделе на Лиговке (унесла горничная, продала за пять рублей). Второй — от статского советника, заподозрившего жену в измене. Жена не изменяла — она играла в карты с подругами, проигрывая казённые деньги мужа. Советник был так благодарен, что заплатил десять рублей вместо пяти обещанных. Но денег не хватало даже на дрова.

Клиенты боялись. Петербург после 1905 года жил в паранойе. Каждый думал, что частный сыщик — это либо провокатор охранки, либо вымогатель, либо шпион. Арсений не был никем из перечисленного, но объяснять это было бесполезно. Он сидел в промёрзшей конторе, поил Джека чаем с молоком (пёс болел на холоде) и думал: «Что дальше?»

Ответ пришёл через месяц — в виде толстой папки с сургучной печатью и запиской: «Явитесь к восьми вечера в гостиницу "Астория". Спросите господина К.».

Господин К. оказался капитаном первого ранга Андреем Петровичем Ларионовым — высоким, костистым, с лицом, изъеденным оспой и морскими ветрами. Он ждал Ветрова в номере, заставленном картами Балтийского моря и моделями кораблей. На столе лежал серебряный портсигар с грави-

ровкой «За Цусиму» — знак того, что Ларионов был из тех немногих, кто выжил в той страшной катастрофе 1905 года. Арсений заметил, что правая рука капитана слегка дрожит — нервный тик, последствие обстрела или, может быть, просто старости.

— Садитесь, Ветров, — капитан указал на стул. Голос у него был скрипучий, как несмазанная дверь. — Я читал о вас. Дело с мопсом — это, конечно, не Трепов, но почерк чувствуется.

— Вы пригласили меня не ради мопса, господин капитан.

— Верно. — Ларионов выдвинул ящик стола, достал карту — не морскую, а архитектурную, с какими-то пометками красным карандашом. — Вы слышали об аэроплане «Россия-А»?

— В газетах писали. Летающая этажерка с мотором в пятьдесят лошадей.

— Не этажерка. — Ларионов поморщился. — Машина, которая может изменить ход любой будущей войны. Дальность — двести вёрст, скорость — восемьдесят вёрст в час, потолок — тысяча саженей. Это вам не игрушки. Военное ведомство заказало два экземпляра. Чертежи хранились в сейфе артиллерийского управления. И три недели назад они исчезли.

— Украдены?

— Испарились. Сейф не вскрыт, замки целы, стража на месте, опечатки нет. Тот, кто это сделал, имел ключи и код.

Исчезли не только чертежи «России-А», но и секретные расчёты по новой винтовке, и схема минных заграждений в Финском заливе.

Арсений помолчал, обдумывая.

— Почему вы обратились ко мне, а не в охранку?

— Охранка уже месяц топчется на месте, — капитан горько усмехнулся. — А у меня есть основания думать, что вор — не посторонний. Свои. И среди "своих" есть те, кто сливает информацию охранке же. Двойное дно, Ветров. Мне нужен человек со стороны. Человек, который не вплетён в эту паутину.

— Гонорар?

— Тысяча рублей при успешном завершении дела. Плюс расходы. Но — предупреждаю: это опасно. Те, кто украл чертежи, уже убили одного инженера и двух свидетелей.

Арсений посмотрел на Джека, который спал у его ног, и подумал о том, что тысяча рублей — это год спокойной жизни. Или смерть в какой-нибудь подворотне.

— Я согласен, — сказал он.

Ларионов протянул ему конверт. Внутри были фотографии места преступления, список сотрудников, имевших доступ к сейфу, и одна странная улика — замшелый камень, размером с кулак, найденный на столе начальника управления. Камень был покрыт зеленоватым налётом и пах тиной. Экспертиза определила: мох и водоросли с берегов Невы, в районе Литейного моста.

— Он оставил это специально, — сказал Арсений, разглядывая камень. — Улика-послание. Или насмешка.

— Или приглашение, — ответил Ларионов.

Первым делом Арсений отправился в чайную «У Золотого льва» — ту самую, где студент Глеб Есенич назначил встречу после их приключения у Литейного моста. Чайная находилась в подвале дома на Малой Конюшенной, и вход в неё был таким неприметным, что мимо прошли бы даже голодные крысы. Но внутри оказалось тепло, накурено и шумно. Пахло сбитнем, жареным луком и мокрой шинелью.

Фёкла Кузьминична — хозяйка заведения — сидела за стойкой и перебирала счётные костяшки. Это была женщина лет сорока пяти, пышная, с ярким румянцем на щеках и весёлыми, но цепкими глазами. В молодости она играла в Александринском театре — на вторых ролях, но, как говорили, утёрла бы нос любой примадонне, если бы не любовь к купцу, который разорился и оставил её с долгами. Теперь Фёкла держала чайную, где кормили по-домашнему, поили чаем из самовара и, главное, не задавали лишних вопросов.

— А, сыщик! — воскликнула она, увидев Арсения. — Глебушка говорил, что вы придёте. Садитесь, голубчик, я вам щей налью. Бесплатно, первый раз в честь знакомства.

Щи оказались наваристыми, с капустой и говядиной, до такой степени хорошими, что Арсений чуть не заказал вторую порцию, но сдержался — надо было сохранять достоинство. Фёкла села напротив и, подперев щеку рукой, устави-

лась на него с любопытством кошки, которая решила, что мышь всё равно никуда не денется.

— Ну, рассказывайте, — потребовала она. — Зачем пожаловали? Глебушка сказал, вы по делу, и дело опасное. Я таких сразу чую — от вас пахнет порохом и враньём.

— От меня пахнет щами, — возразил Арсений.

— Это сейчас. А так — порох и враньё. Но я не осуждаю. Мужчины все врут. Вопрос — зачем.

Он коротко пересказал суть: пропавшие чертежи, заказ от военного ведомства, камень с Невы. Фёкла слушала, кивала, а потом вдруг сказала:

— А знаете, Ветров, в моей чайной каждый вечер сидят чиновники из артиллерийского управления. Пьют, жалуются на жизнь, баб обсуждают. Выпивают — языки развязываются. Я иной раз такую информацию собираю, что волосы дыбом. Хотите — послушаю, о чём они про чертежи говорят?

— Фёкла Кузьминична, это будет огромная помощь.

— Помощь — это хлеб и соль. А плату я возьму потом. Когда вы разбогатеете. — Она хитро прищурилась. — Или, когда умрёте. Тогда уж всё равно.

Глеб Есенич нашёлся на следующий день. Он жил в каморке на Васильевском острове, в доме, где пахло мокрыми тряпками и кошками. Когда Арсений постучал, дверь открыл сам студент — с опухшим лицом, синяком под глазом и явным похмельем.

— А, Ветров, — зевнул он. — Проходите. Только не на-

ступайте на чертежи.

В комнате действительно царил хаос. Столы, стулья, подоконник — всё было завалено картами, набросками, кальками. На стене висела увеличенная карта Петербурга с какими-то разноцветными линиями, похожими на паутину. Глеб заметил взгляд Арсения и усмехнулся:

— Моё хобби. Я картограф-любитель. И альпинист. Люблю высоту и планы. А вы, как я понял, расследуете то, что произошло у Литейного моста?

— Расследую. И вы мне нужны, Глеб Иванович.

— Чем я могу помочь?

— Вы альпинист. Значит, умеете лазить по крышам, карнизам, водосточным трубам. А ещё вы студент-медик — умеете обращаться с ранеными и с мёртвыми. Это может пригодиться.

Глеб помолчал, налил себе воды из графина, выпил залпом и посмотрел на Арсения с неожиданной серьёзностью.

— Я согласен. Но вы должны кое-что обо мне знать. Чтобы потом не было сюрпризов. — Он сел на стул и заговорил, глядя в пол. — Мой отец — полковник Иван Есенич. Был командиром сапёрного батальона. В 1904 году его обвинили в растрате казённых средств на строительстве моста через Вислу. Он не воровал — его подставили. Но суд был скорый, а адвокат — продажный. Отца разжаловали, лишили чинов, орденов и выслали в Вологодскую губернию. Там он и умер в прошлом году — от чахотки. Мне остались долги и нена-

висть к системе, которая убивает честных людей.

— И вы скрываетесь от кредиторов?

— Скрываюсь. Академия даёт отсрочку — студентам не предъявляют иски. Но если меня выловят полицейские приставы, всё — исключат, сошлют в солдаты. Так что, Ветров, я человек опасный. Если меня арестуют по вашему делу — вы будете соучастником.

Арсений протянул руку.

— Тогда не дадим вас арестовать.

Глеб пожал её — крепко, с той молчаливой благодарностью, которую нельзя выразить словами.

Панкратий появился в деле случайно. Через три дня после разговора с Глебом Арсений вернулся в чайную «У Золотого льва» и застал там странную картину. Фёкла ругалась с маленьким, грязным человеком в лохмотьях, который сидел за дальним столиком и пил чай из блюдца, громко прихлёбывая.

— Я тебе говорю, Панкратий, — кричала Фёкла, — нечего шляться по моему заведению! Воняешь как... как король сточных труб!

— А я и есть король, — обиженно ответил мужичонка. — Все подземные ходы знаю. Каждый люк, каждый коллектор. Кто, как не я, ваш погреб от крыс чистил?

Арсений прислушался. Подземные ходы — это была идея. Нева промерзает, вода уходит, и под набережными открываются старые дренажные системы, подземелья, заброшенные

коллекторы. Идеальное место для тайника.

— Панкратий, — позвал он. — Подойдите.

Нищий подошёл. Пахло от него действительно — сыростью, нечистотами и старой водкой. Но глаза были ясные, живые, с хитрецой. Арсений выложил на стол три рубля.

— Ты говоришь, знаешь все ходы под набережной? От Литейного моста до Дворцовой?

— А то! — Панкратий обиженно засопел. — Я там как у себя дома. Только дом-то у меня — труба, а не палаты графские.

— Мне нужно найти место, где могли спрятать украденные чертежи. Тайник, погреб, нишу — что-то недавно использованное.

Панкратий задумался, почесал затылок, потом вдруг заулыбался беззубым ртом.

— Есть одно место. Под Литейным мостом, со стороны Выборгской стороны. Там старый коллектор, его ещё при Николае Первом строили. Своды кирпичные, лестница железная. Годами никто не ходил — сыро, темно, крысы. А в прошлом месяце я заметил — ступеньки чищены. Кто-то лазил.

— Проводишь меня туда? Завтра ночью?

— Проведу. Но если там черти — ты меня прикроешь?

— Прикрою, — пообещал Арсений и подумал, что черти, возможно, меньшее зло по сравнению с теми, кто прячет военные тайны под землёй.

Знакомство с новыми друзьями, как водится, сопровождалось скандалами и ссорами. На четвёртый день совместной работы Глеб и Арсений чуть не подрались.

Повод был пустяковый: Арсений заметил, что один из конвертов с уликами — снимки места кражи и опросы свидетелей — переложен в его папке. Фотографии были не на своих местах, а на одной из них (на обороте) оказался незнакомый почерк: «А. К. — ключ к шифру». Арсений не помнил, чтобы делал эту пометку. Подозрение упало на Глеба — из всех соратников только он имел доступ к столу, пока Арсений отлучался в уборную.

— Ты что, обыскивал мои вещи? — спросил Ветров, сжимая папку. Голос был спокойным, но внутри кипело.

— С какой стати мне это делать? — огрызнулся Глеб.

— Ты сын разжалованного офицера. У тебя могли быть обиды на военное ведомство. Может, ты и украл эти чертежи? Или подрабатываешь на стороне?

Глеб побелел. Потом медленно встал, сжал кулаки и сказал тем тоном, каким говорят приговорённые к казни:

— Значит, так? Я вам жизнь спас у Литейного моста, а вы меня в шпионы записываете? Спасибо, Ветров. Благородно.

Он схватил своё пальто и пошёл к двери. Арсений остановил его:

— Постой. Я, может быть, погорячился.

— Погорячились? — Глеб развернулся, и в глазах его блестели слёзы — не от обиды, от ярости. — Вы не имеете права

так со мной! Я рисковал собой, чтобы вытащить вас из-под пуль! Я вам душу открыл — про отца, про долги! А вы меня — в грязь лицом? Да пошли вы, Ветров!

Он вылетел из чайной, хлопнув дверью так, что задребезжали стёкла. Фёкла, всё это время стоявшая у стойки с полотенцем, покачала головой:

— И дурак же ты, Арсений Платонович. Мальчишка преданный, как пёс, а ты его — ножом под дых. Зачем?

— Конверт был переложен. Почерк не мой.

— А ты спросил у Панкратия? У меня? Может, сама положила, да забыла? Грех-то какой...

Ветров не ответил. Он сидел, сжимая в пальцах карандаш, и чувствовал, что действительно сделал глупость. Нельзя было подозревать без доказательств. Но правда открылась через два часа, когда пришёл Панкратий и, шмыгая носом, сообщил:

— А я вчера вечером к вам в комнату заходил. Дверь была не заперта. Вы в сортире были. Я просто хотел спросить, не нужно ли чего починить по хозяйству. Увидел папку на столе, открыл — интересно же, что там. Полистал, положил обратно. Может, перепутал листочки? Извиняюсь, господин хороший, я ж нечаянно...

Арсений закрыл глаза. Панкратий. Конечно, Панкратий. Грязные руки, любопытный нос, привычка всё трогать.

Он нашёл Глеба на набережной, у того самого Литейного моста. Студент сидел на парапете, глядя на чёрную воду, и

курил. Рядом валялась пустая бутылка из-под пива — уже третья, судя по количеству окурков.

— Глеб, — сказал Арсений, садясь рядом. — Я дурак. Это был Панкратий. Он переложил бумаги по чистой случайности.

— Я знаю, — глухо ответил Глеб, не оборачиваясь. — Фёкла прибегала, всё рассказала.

— Простишь?

Глеб помолчал. Потом повернулся, и в его глазах уже не было злости — только усталость.

— Прощу. Но запомни, Ветров: ещё раз заподозришь — уйду навсегда. И не вернусь. У меня в жизни было достаточно предательств. От отца — не надо.

— Не будет, — пообещал Арсений и протянул руку.

На этот раз рукопожатие было тяжелее, суше, но Глеб не отвернулся.

На следующий день разразился новый скандал — теперь с Фёклой. Арсений пришёл в чайную утром и нашёл её в слезах. Крупная, цветущая женщина сидела на стуле, закрыв лицо руками, и плечи её вздрагивали. На столе лежал свёрток — крафтовая бумага, перевязанная бечёвкой, и пакет из-под муки, набитый деньгами. Пахло от него сыростью и плесенью.

— Что случилось? — спросил Арсений, подходя ближе.

— Подбросили, — прошептала Фёкла, поднимая заплаканное лицо. — Ночью кто-то залез в чайную — через окно

в подвал — и положил этот... этот мешок. Там три тысячи рублей. И записка: «За сведения от Ф. К. Аванс. Остальное после дела».

— Что за сведения?

— Не знаю! — всхлипнула она. — Я никому ничего не продавала! Я только слушала чиновников в своей чайной — как вы просили! Языками треплют, а я ушами хлопаю! И вдруг — деньги!

Арсений развернул бумагу. Почерк был тот же, что и на письме господина «Ч» — каллиграфический, с нажимом. «Ф. К.» — это, вне всякого сомнения, Фёкла Кузьминична. Кто-то хотел либо подставить её, либо завербовать. И в любом случае — использовать как шантажируемый инструмент.

— Фёкла, — сказал он тихо. — Это ловушка. Если вы возьмёте деньги — будете соучастницей. Если откажетесь — они донесут, что вы брали. Вы знаете, кто мог это сделать?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.